



ЧАСТЬ I

(Лет шестьдесят назад)



Глава I

ЖАРКО

Если долго смотреть на облака, узнаешь, когда пойдёт дождь. Лёка не мог этого объяснить, как не мог объяснить, откуда человек узнаёт, что голоден или что ему надо в туалет. Белые облака, без единой серинки, всё сами расскажут, если смотреть внимательно. Лёка был очень внимательным. Он лежал в тени дерева, свернувшись в небольшой прохладной ямке, как раз по размеру, чтобы можно было и ноги согнуть, и руки спрятать. Ямку он про себя называл «мой горшок», хотя какой горшок — больше похоже на люльку для младенца. Но это не солидно, а «горшок» хотя бы смешно.

Кусочки неба были видны сквозь крону огромного клёна. Солнце припекало даже здесь, в те-

ни, но не жгло, а грело. Лёка смотрел в небо. Не то чтобы он хотел узнать, когда будет дождь — просто облака завораживали. Они проплывали чинно, растворяясь-растекаясь по небу, будто махали Лёке: «Привет».

Однажды глупая Татьяна Аркадьевна, увидев Лёку в его «горшке», попыталась втянуть его в странную игру «На что похожи облака». Нет, серьёзно: взрослая женщина уселась рядом с ним на корточки и стала неприлично тыкать пальцем в небо. Как будто сама не учила не тыкать пальцем в людей. «Это, — говорит, — похоже на зайчика, а это — на торт». И ничего было не похоже! Облака похожи на облака! Лёка тогда сказал ей, что она со своей причёской похожа на Артемона без ушей. Сказал — и пожалел. Ничего, что он полдня отстоял в углу, — плохо, что перед ребятами его опозорили: «Все посмотрите на Луцева! Он не знает элементарных детских игр и оскорбляет воспитателя...» И все смеялись.

В пятницу ещё мать всыпала за то, что он её позорит перед всей деревней. Ну где позорит-то?! Позор — не знать, что такое облака, позор — сравнивать их с чем-то, что не они. Вот это позор. Почему-то всё равно было стыдно, будто он и правда не знает чего-то важного, что все шестилетние мальчики уже должны знать. ...Хотя, скорее всего, Татьяна Аркадьевна обиделась на «Артемона». Глупо. Наверное — да нет, точно! — она знает, что «Артемоном» её

зовут все дети в саду. И зачем делать из этого тайну?

Перед глазами забегали чёрные точки. Лёка называл их «точками зрения», хотя догадывался, что это здесь ни при чём. Но так понятнее: вот она, точка, вот она возникает в поле зрения — значит «точка зрения». С площадки доносились крики «Белые идут!» — это дурацкий Славик с его компанией опять играют в войнушку. Никто не хотел играть за белых, вот их и не было. Армия дурацкого Славика воевала с воображаемым врагом. И они ещё говорят, что Лёка странный!

...Дождь будет послезавтра. Лёка это знал. Облака бежали, солнышко грело, хорошо-то как! Только жарко. Даже в тени жарко. Лёка подумывал о том, чтобы сбегать на кухню. Там сегодня добрая повариха Света. Если попросить попить, она даст прохладного вчерашнего компота из холодильника... Неохота. Пить охота — идти никуда неохота. Вот если бы сами принесли... Он смотрел на листья. Они были какие-то вяловатые, не совсем дряблые, как у «ваньки мокрого» в группе, когда его забывают полить, а так, будто чуть расслабились. И тогда он в первый раз услышал:

— Жарко...

Голос был не человеческий, да и вообще не голос. Такое странное постороннее ощущение в ушах и немного в животе, Лёка даже не испугался. Просто ни с того ни с сего понял, что дерево нужно полить. Оно ж не побежит на кухню пу-

гать Свету просить воды! Он выбрался из своей верной ямы и пошёл в группу.

— Луцев, ты куда? — Артемон сейчас может всё испортить. Скажет: не лезь со своими глупостями или ещё что-то обидное...

Лёка притормозил уже на крыльце, подошёл к воспитателю, стараясь сделать умный вид:

— За лейкой же, Татьяна Аркадьевна. Дереву жарко, надо полить.

Несколько секунд Артемон смотрела на деревья на площадке, как будто прикидывая, поставить их в угол или пускай здесь стоят. Но с Лёкой согласилась:

— Хорошо придумал, молодец. Дети! — она произнесла это торжественно, как на концерте. — Лёня Луцев напомнил мне, что у нас сегодня очень жарко. И не только нам, но и деревьям. Давайте сейчас сходим в группу за лейками и польём деревья на площадке.

Девчонки радостно побежали в корпус, обсуждая, кто какую лейку возьмёт. Они разноцветные, эти лейки, девчонкам важно, чтобы красная и ни в коем случае не синяя и не зелёная, что с них возьмёшь! Лека пошёл за своей зелёной.

Он шёл через двор медленно, потому, что полгруппы уже убежали за лейками, а главное — потому, что он слышал. Со всех сторон и даже откуда-то сверху в уши и почему-то в живот стекался этот странный неголос:

— Жарко, жарко.

Жарко было цветам на клумбе, и колючему шиповнику под окнами, и огромным деревьям

у забора садика. Вот тогда Лёка испугался. Даже хотел сказать Артемон, но быстро передумал: что она понимает, Артемон! А страшно стало. Слышать то, чего не слышал раньше, чего не слышат другие. Мать, конечно, разговаривает с цветами на подоконнике и с помидорами в парнике. Говорит им всякую чушь вроде «Растите скорее» или «Ты чего не цветёшь, на черенки пушу!» — но Лёка знал, что они ей не отвечают. У них другой язык, теперь он это точно знает. Наверное, и они её не слышат и не понимают. С ними надо по-другому.

Когда он вернулся с большущим ведром (лейки ему не хватило — ну и не надо, одной лейки дереву будет мало) и опрокинул его под корни своему дереву, он сразу попробовал что-нибудь сказать. Напряг мысли, напряг уши, зачем-то зажмурился и попытался изобразить на этом нечеловеческом языке короткое слово «На». Не получалось. Наверное, надо много тренироваться. Лёка в мультфильмах видел: если тренироваться, обязательно получится. Он стоял с пустым ведром, зажмурившись, даже сжав кулаки, и пытался, пытался...

— Луцев, ты что, с деревом разговариваешь? — Артемон. Лёка даже вздрогнул: откуда она узнала его новую тайну?! — Иди цветочки полей, про них все забыли.

Не узнала, нет, не могла. Просто ляпнула, чтобы всех посмешить. Не узнала. Не должна узнать. Новой тайной делиться не хотелось ни с кем, даже с матерью.

Глава II

СВИНЬЯ

Он много тренировался, очень много. В группе, пока все играли, потихоньку подходил к фикусу, усаживался рядом и, бездумно катая машинку туда-сюда, чтобы Артемон ничего не заподозрила, пытался что-нибудь сказать на этом цветочном языке. Удобнее всего было тренироваться во время тихого часа: никто ничего не скажет, если ты лежишь зажмурившись изо всех сил и даже тихонько шевеля губами. В спальне на подоконнике был только один цветок, и он молчал, как тот фикус. Лёка утешал себя, что, наверное, у них всё в порядке, если молчат, а что он сам не может говорить — так надо тренироваться ещё и ещё. А иногда, отчаявшись, он даже думал, что не было того случая с деревом, приснилось, показалось... Но сам себя одёргивал: ерунда! Он всё помнит, он всё слышал и обязательно услышит ещё, надо только продолжать тренировки.

В конце концов заговорить на цветочном ему помогла свинья.

* * *

Это было уже зимой, в пятницу. Мать привела Лёку с пятидневки по ранней зимней темноте. Лёка ненавидел зимние вечера: рано же ещё, почему темно? Несправедливо, как будто ты провинился, и тебя гонят спать раньше времени.

Всю дорогу мать шла впереди, протаптывая в сугробах тропинку для Лёки. Он еле поспевал в своих огромных валенках — и всё равно замёрз и мечтал только поскорее оказаться дома на печке. У них на пятидневке совсем не та печка: огромная и неприступная, как гора, на ней не поваляешься, даже если разрешат. Мать в тот вечер даже не донимала его расспросами о садике, о том, не подрался ли он опять со Славиком: наверное, из-за сильного ветра — он дул в лицо, поднимая снежные брызги, и мешал болтать.

Дом был заперт на всякий замок, значит, мать не заходила, а сразу с работы — за ним. Значит, дома ещё холодно. Обычно мать успевала забежать затопить печку, и, пока ходила за Лёкой в сад, их домик успевал отогреться. В этот раз не успела, значит.

Пока мать возилась с замком, Лёка пританцовывал на крыльце от холода и от нетерпения: ух сейчас он завалится на свою печку! И ничего, что она ещё холодная, Лёка сам затопит, пока мать разбирает сумки, сам чиркнет спичкой, бросит огонёк в скомканную газету в печкиной пасти и будет смотреть, как занимаются сухие дрова.

Наконец мать расправилась с замком. Лёка взбежал за ней на крыльцо («Не хлопай дверь!»), ворвался в прихожую, повесил тулупчик на свой низкий крючок и рванул на кухню, на ходу сбрасывая валенки.

— Ты чего это — по дому соскучился?

— И ещё замёрз!

Сухие дрова лежали у самой печки, там же — старые газеты. Лёка уселся на маленькую скамеечку и стал аккуратно укладывать дровишки в топку. Замёрзшие пальцы ещё не слушались, но спичку держали. Огонёк быстро сглотнул газету и перекинулся на дерево, то пригибаясь, то разрастаясь в большое пламя. Как всё-таки мало нужно для счастья!

Мать включила свет, завозилась с сумками, захлопала дверцей холодильника. Сейчас она помоеет картошку холодной водой и даст ему чистить. Лёка усядется на печку, поставит кастрюльку с картошкой на свой старый высокий малышачий стульчик, чтобы было удобнее, и начнёт снимать тонкую золотистую кожуру с жирных картофелин. Мать всегда его хвалит, как он тонко чистит картошку.

— Заслонку не забыл?

Не забыл. Лёка отряхнул руки от мелкого древесного мусора, уселся на печку между кухней и коридором. Отсюда всё видно: и прихожая, и кухня, и как мать моет картошку, потирая друг о друга покрасневшие пальцы. Вода в тазу из прозрачной становится грязной, как в луже, мать сливает её в ведро, придерживая картофелины, чтобы не укатились следом, и заливает свежей из бочки. Сейчас и эта помутнеет, так всегда.

...Рядом на печке валялась книжка про доктора Айболита. Лёка неважно читает, Артемон вечно ругает его за это. А мать ничего, говорит: «Москва не сразу строилась, научится ещё». В книжке есть страшные картинки, на которых

взгляд останавливался сам собой. Бармалей размахивает огромным ножом перед животными. На лице обезьяны — такая гримаса ужаса, что Лёка тоже не по себе.

Тогда-то он и услышал. Как в тот раз под деревом: в уши и почему-то в живот ворвался этот вопль:

— Убивают!

Книжка чуть не выпала из рук.

Мать спокойно мыла в тазике уже посветлевшие картофелины. ...И голос был как в тот раз: не человеческий, не голос. Он доносился откуда-то из-за спины, из-за окна, с улицы.

— Убивают!

— Я скоро, мам. — Лёка быстро спрыгнул с печки, пока мать не успела возразить, и побежал одеваться.

— Куда? А картошка?

— Я скоро. Ты без меня ничего не делай, я быстро... — он болтал скороговоркой, промахиваясь мимо рукава тулупа. Кажется, нитки хрустнули, когда он наконец-то попал в этот проклятый рукав. Некогда возиться с пуговицами!

— Убивают!

— Бегу! — это вырвалось само собой и сразу как надо. Мать не слышала, она и не должна была, Лёка сам толком не расслышал, но знал, что получилось. — Ты где?

— Грязно! Холодно! Воняет! Убивают!

В голове вспыхивали образы один за другим. На человеческом языке никто бы не понял, а на цветочном легче. Лёка сразу всё понял.

Он прямо видел перед собой этот грязный соседский сарай, видел изнутри земляной унавоженный пол, где тёплые жёлтенькие опилки давно превратились в грязное месиво. «Грязно!» Видел подгнившие редкие доски, сквозь которые гуляет ветер, да так, что нет разницы, внутри ты или снаружи. «Холодно!» Он слышал этот удушливый даже на морозе запах свинарника: не такой, как от козы или коровы, а почти как в человеческом сортире. «Воняет!» И где-то уже на задворках мысленного взора — лязг железа по точильному камню. «Убивают!»

Сосед. Сосед дядя Вася держал свинью и собирался зимой её зарезать. Мать давно ворчала: «Поскорее бы», потому что запах от свинарника стоял такой жуткий, особенно летом — похоже, сосед не очень-то любил его чистить. Значит, сейчас. Значит, вот-вот... Примерно так это должно было звучать, если перевести на человеческий. Мать говорила Лёке, что свиньи, да все животные чувствуют, когда их собираются резать. Мечутся, кричат, пытаются убежать. Кажется, эта тоже визжала на человеческом...

В распахнутом тулупе Лёка выскочил на крыльцо. Вот он, свинарник соседа. В десяти шагах от него, сразу за забором. Сквозь поредевшие штакетины виден почти весь соседский двор: летом его заслоняли яблони, а теперь они стояли без листьев, и Лёка видел всё.

На скамейке перед домом в скупом луче лампы над крыльцом, спиной к Лёке, сидел сосед.

Угрюмый чёрный тулуп с нахлобученной сверху шапкой. На той же скамейке закреплено ручное точило. Круглый камень с ручкой, на мамкину мясорубку похож. Только звук от него жуткий: железом по камню. Сосед точил нож. Рядом, тоже к Лёке спиной, другой чёрный тулуп помахивает верёвкой в руке. Должно быть, тоже кто-то из соседей пришёл помочь. Вокруг темно. Только эти в луче фонаря, как в кино про бандитов. И в этой темноте почти тонуло чёрное пятно свинарника. Совсем рядом, сразу по ту сторону забора. Если перелезть через забор...

Быстро, прячась за яблонями, Лёка побежал. С Лёкиной стороны к забору примыкает дровяной сарай. Дрова привезли недавно, ещё не все распилили, и у самого сарая громоздилась гора брёвен. Если подняться по ней, да на крышу, да через забор... Мать запрещает ему лазить по дровам: «Ноги переломаешь, а нет — так сдвинешь и завалит». Надо. Поленницу уже припорошило снежком, он даже не видел, куда ступить, чтобы...

— Убивают!

— Иду. — Лёка зажмурился и шагнул на поленницу: раз-два-три, главное — быстро, главное — не думать, главное... Колено налетело на крышу сарая, и он открыл глаза. Высоко. С земли их сарай казался маленьким, сутулым, а тогда, стоя на дровах у самой крыши, Лёка забоялся. Далеко впереди прямо за крышей земли не было видно — только снег на деревьях и лес, густой чёрный лес за соседским забором.

— Иду. — повторил он уже себе и шагнул на крышу.

Несколько длинных шагов — и пропасть. Внизу под забором белел снег: высоченный сугроб, и всё равно такой далёкий, у Лёки аж голова закружилась, чуть не упал вверх тормашками на соседский участок. Ерунда: нужно только аккуратно спрыгнуть в темноту и не завопить, а то услышат. Лёка вцепился в забор, перелез, повис — и спрыгнул.

Сперва ему показалось, что сугроб накрыл его с головой, но нет, поменьше, можно выбраться. Барахтаясь и стараясь не скрипеть снегом, Лёка выкатился на расчищенную тропинку. Темно. Почти. Белый снег отражает свет далёкого фонаря за сараем. Лёка видел тени этих двоих: соседа и второго, длинные, нечеловеческие, и этот нож: его тень тоже вытянулась в целую саблю...

— Дверь! — дверь сарая была рядом: руку протяни, отопри деревянную задвижку — и всё...

— Сейчас... — Ой, нет! Куда же она побежит, бедная свинья, кругом забор!.. Её тут же схватит этот с верёвкой, и тогда...

— Подожди... Сейчас... Забор. — Справа от Лёки, совсем недалеко, та часть участка, которая выходит на лес. Забор в том месте совсем плохой, если попытаться выломать штакетину... Лёка прокрался к забору и уже почти на ощупь стал искать слабое место.

Темно. Лёка бежит вдоль забора, ощупывая доску за доской, но именно в этом месте они стоят плотно, как будто издеваются. Пролезет ли

она, если выломать только одну штакетину? Нет, надо две доски выламывать... А как же хоть одну-то... Вот одна, совсем гнилая, Лёка чуть надавил — и раздался оглушительный хруст!

— Что там у тебя? — послышалось до ужаса близко. Второй, не дядя Вася.

По снегу захрустели чьи-то валенки. Лёка на секунду замер...

— Дверь! — Свинья права: поздно прятаться.

Лёка, уже не скрываясь, бежит к сараю, отодвигает деревянную задвижку и падает, сбитый распахнутой дверью. Некогда лежать. Он вскакивает, глядя, как свинья выбегает с визгом — правильно, в сторону забора, в ту сторону, которая выходит на лес. Лёка бежит за ней: надо удирать. А как свинья преодолеет забор? За спиной уже хрустит снег под тяжёлыми мужскими валенками, уже приближаются длинные тени...

— Кто там?!

— Бежим! — Свинья легко преодолела забор. Прыгнула как цирковая, только чуть зацепилась копытцами. Забор скрипнул, и целая секция тихо шмякнулась в снег, подняв белое облако.

Лёка удирал уже по доскам. Там, впереди, совсем близко чернел лес.

— Ты что творишь?! — Дядя Вася выругался где-то уже очень далеко за спиной.

Несколько шагов Лёке казалось, что их вот-вот догонят, он бежал, увязая в снегу, и смотрел на тёмное пятно-свинью впереди. Свинья быстрее. Свинья удержит, обязательно. Только там лес!..

— погоди! съедят!

Тёмное пятно остановилось у самого леса, почти невидимое у подножия деревьев. Лёка ещё догонял, увязая в сугробах: здесь-то на ничьей земле снег расчистить некому. Он бежал долго, но откуда-то знал, что свинья ждёт. Ждёт — значит погоня отстала. Он подбежал почти вплотную и только тогда увидел блеснувший пяточок. Свинья стояла спиной, но обернулась, как человек. Лёка не знал, что они так могут.

— погоди! Там лес. Впереди — лес. Тебя съедят!

Свинья подмигнула. Было темно, но Лёке показалось, что она посмотрела на него как на дурачка:

— Нет волков. Кабаны.

— Порвут! Дикие!

Свинья покачала головой. Смотреть на это было странно, как будто это всё снится, не бывает же так, чтобы свиньи головой качали.

— Страшно в лесу!

— Холодно. Не страшно. Не режут, — объяснила свинья как маленькому и, кивнув Лёке за спину, добавила: — За тобой!

Лёка обернулся. За спиной до ужаса близко плясали два луча карманных фонариков. Почему за ним? Не за ним — за ней...

— Убегай! — он глянул — свиньи уже не было. В луч приблизившихся фонариков попадали смешные следы в снегу: полоски с копытцами, наверное, бесёнок из сказки про Балду оставлял бы такие же. Свинья убежала, не сказав ни «Пока», ни «Спасибо». Может быть, их просто нет

в цветочном языке? Лёка только надеялся, что в лесу со свиньёй ничего не случится и она найдёт там себе еду и, может быть, даже прибьётся к стае кабанов, как хотела. В конце концов, она права: в лесу, конечно, холодно, но хотя бы никого не режут. Улыбка сама собой расплзлась до ушей, в животе что-то защекотало. ...А злобные огоньки приближались, и с ними приближались голоса:

— Ты понимаешь, сколько народу мяса лишил?! — сосед.

— Ты что творишь?! Твоя мать ещё за дрова не рассчиталась! — другой сосед, не дядя Вася, а этот, напротив. Злющий. Он всегда привозит им дрова и вечно ворчит про долги.

Лёка испугался, что сейчас они заметят следы, побегут за свиньёй и, чем чёрт не шутит, может, и поймают. Не бегом, конечно, а на приманку, например, поставят капкан...

Раз в жизни он видел капканы. Не здесь, не в деревне — в кино. Очень давно, может быть, в том году. Что-то случилось в детском саду, и мать взяла Лёку с собой на работу в город. Полдня он просидел в угрюмом кабинете, набитом бумагами, где раскрашенные тётки говорили «Какой ты большой» и совали ему конфеты. Было отчего-то стыдно и неловко, даже конфет не хотелось. А вечером, когда мучения наконец закончились, мать повела его в кино. Там был скучный фильм про лесника и браконьера, и там были капканы. Гнутые железки с зубчиками, которые впиваются в кожу и мясо. Попавшиеся жи-

вотные в кино кричали совсем по-настоящему, и даже в черно-белом цвете Лёку пугала кровь. Её было много, она заливала белый снег, и от неё слипались шерстинки животных. Вроде чёрная, не красная, а всё равно страшно, потому что ты-то знаешь, какого она цвета, экрану тебя не обмануть... Надо идти навстречу: пусть они не узнают, куда убежала свинья, пусть снег заметёт следы!

Как будто подслушав его желание, поднялся ветер, и вокруг заметалась снежная пурга. Крупинки снега плясали в лучах фонариков, и Лёка торопливо пошёл к людям. Ух сейчас кому-то выплют по первое число! Почему-то он думал об этом совершенно спокойно.

— Явился не запылится! — дядя Вася схватил его за ухо свободной рукой и больно вывернул. В другое время Лёка бы разревелся от обиды, а тогда не мог спрятать улыбку. Свинья спаслась! Это главное. А что они там ворчат...

— Ты чего это вздумал свиней воровать?!

Лёка даже удивился: воровать? Это не про него, это...

— Я не крал.

— Попререкайся мне ещё!

Но это же чушь собачья!

— Я не крал — я выпустил!

Вьюга кружила, ветер усиливался, белые крупинки били в лицо и забивались в глаза и рот. Дядя Вася тащил его за ухо, Лёка, спотыкаясь на сугробах, еле поспевал. Второй сосед шёл за ними молча, как будто конвоировал. Дядя Вася вта-

шил Лёку на крыльцо и, едва оказавшись в прихожей, завопил:

— Петровна! Иди любуйся!

Мать уже чистила картошку. Сама, не дождалась Лёку. Она так и вышла в прихожую — с ножом и полуголой картофелиной:

— Что? Что ты успел натворить?

— А то! — дядя Вася наконец-то отпустил ухо, развернул Лёку к себе, присел на корточки. У него была желтоватая щетина, мокрая от снега, и ледяные серые глаза. — Скажи, зачем ты это сделал?! — он рывкнул это Лёке в лицо, дыхнув какой-то гадостью. Хотелось зажмуриться. — Свинку пожалел? А дядю Васю не пожалел? У меня трое детей — что они жрать теперь будут?! — Он повернулся к матери, и Лёка наконец смог сделать вдох. — Выпустил свинью, а она вскладчину с Петровым куплена. Я теперь не только без мяса, а ещё и денег должен!

— Может, ещё можно поймать... — мать рассеянно вертела в руках картофелину, а у Лёки внутри всё сжалось. Он зажмурился и шептал про себя: «Не поймаешь, не поймаешь, не смей...»

— Куда там!

Второй сосед что-то пробубнил себе под нос, мать отшатнулась со своей картофелиной и бросила на Лёку осуждающий взгляд:

— А я-то думала, ты уже большой. — Она прошла на кухню, отложила картофелину, вытерла руки о фартук, взяла с полочки жестянку из-под чая, вернулась с этой жестянкой, на ходу пытаясь открыть.

— Ты мне деньги не суй, ты мне по-человечески объясни... — дядя Вася орал уже на мать, орал что-то взрослое и, наверное, обидное, Лёка хотел заткнуть уши, но постеснялся.

...Он долго орал. Мать оправдывалась, Лёка не слушал. Это всё было не важно. Он думал о свинье.

Глава III

ХОЛОДНО!

После Нового года ударили сильные морозы. Артемон не выпускала никого гулять: слишком холодно. Играть разрешалось только в центре комнаты, поближе к печке. Нянечка Серафима Ивановна затапливала её утром, на ночь и ещё в обед перед дневным сном, и всё равно тепло быстро уходило. Цветы на подоконнике тоже жаловались на холод, но Лёке удалось неожиданно легко уговорить нянечку их перенести на шкаф, подальше от холодных окон.

Артемон запрещала подходить к окнам: «Дует, простынете, что я родителям скажу?» А Лёка любил любоваться узорами на стекле или оттаивать пальцем дырочки, чтобы смотреть на улицу. Один раз дурацкий Славик подкараулил его за этим занятием. Лёка смотрел в дырочку на заснеженный огород, а Славик подкрался сзади и со всей силы вжал лбом в стекло. Морозец обжёг лицо, и Лёка вслепую ткнул локтем...

— Чего дерёшься?! — Славик тут же отпустил его голову и завопил, изображая битого: — Татьяна Аркадьевна, Луцев дерётся!

— Не ври, ты первый начал! — неожиданно пришёл на помощь Юрик, за что получил от Славика злющий взгляд.

Этот дурацкий Славик показал исподтишка кулак, и Лёка так и не понял: ему это или Юрику. Наверное, ему: Юрик всё-таки Славкин друг.

Артемон за своим воспитательским письменным столом рассеянно подняла глаза от бумаг:

— Не задирайся, не получишь... Так, а это что такое?! — она смотрела куда-то мимо Лёки. На морозное стекло, где во всей красе отпечаталась Лёкина физиономия. Выглядела она странно, перекошенно и вообще ни капельки не похоже, даже страшновато. Но Артемон есть Артемон. — Луцев, это твой портрет? — Все засмеялись, а дурацкий Славик громче всех. — Что я говорила насчёт окон? Пневмонию захотел? В больницу?

«В больнице хотя бы не будет Артемона и дурацкого Славика». Но вслух Лёка этого, конечно, не сказал. Остаток вечера он простоял в углу, изучая трещины в краске.

* * *

Ночью было особенно холодно. Лёка сперва долго вертелся, кутаясь в одеяло, и всё не мог согреться. Он смотрел на ледяные узоры-завитушки на стекле, вспоминал свой сегодняшний конфуз и гадал, как быстро его некрасивый пор-

трет опять станет снежным узором. От таких мыслей становилось ещё холоднее. От холода трудно было уснуть, а когда сон всё-таки навалился, в уши и в живот тотчас впилось это слово на цветочном языке:

— Холодно!

— Холодно, — согласился Лёка. Он тогда подумал, что ему снится, и так и лежал с закрытыми глазами, не осознавая, что уже не спит.

— Холодно! — а этот неголос был уже другим. На цветочном языке не поймёшь, кто говорит, потому что неголос не бывает ни высоким, ни низким, ни молодым, ни старым. Но этот был другой, не тот, что в первый раз, Лёка это чувствовал.

— Холодно! — третий...

— Холодно! — опять первый.

— Холодно! — ещё один.

Лёка открыл глаза. Впереди так же блестело от света фонарика над крыльцом заледеневшее окно. Вокруг белели пододеяльниками кровати. В углу, у самой двери, — тёмное пятно, там, на застеленной кровати, накинув пуховый платок, тихо похрапывала ночная няня.

А неголоса не отставали. Со всех сторон, издалека и близко, в уши и в живот стучалось это «Холодно!». Лёка сел на кровати. Голова гудела так, будто у него ангина. Неголоса наперебой твердили своё «Холодно!» — они сливались в ровный гул, как в телефонной трубке в кабине у заведующей. Лёка схватился за голову, одеяло соскользнуло, и плечи защипал холодок. «Холодно-холодно-холодно...»

— Тихо! Кто вы?! Где вы?!

— Дерево-крыша-лавочка-снег-дерево-дерево-дерево-холодно-холодно-холодно... — неголоса талдычили наперебой каждый своё, кого-то они напоминали, но Лёка совсем не мог думать: голову сверлило это «Холодно». Если он так и будет сидеть, они просверлят голову совсем и замёрзнут насмерть. ...И ещё надо взять на кухне хлеба.

Мысль была совершенно чужой, Лёке бы никогда в голову не пришло воровать хлеб. Воровать! Хлеб! Даже звучало дико. Дурацкий Славик с Витьком и Юркой хвастались, что однажды ночью пробрались потихоньку на кухню, стащили по куску хлеба и слопали под одеялами. А утром никто ничего не заметил, потому что повариха не пересчитывает нарезанный хлеб, а крошки из постелей они стряхнули. Лёка был уверен: они врут. Хвастаются. Потому что ночная няня бы заметила, повариха бы заметила, весь мир бы заметил, а Артемон... Лёка не мог вообразить, что бы сделала с ними Артемон.

— Надо хлеб. Надо-надо-надо... — неголоса звенели в голове, перебивая друг друга.

Лёка схватил со стула колготки, стал натягивать. Послышался треск рвущейся ткани, и на секунду наступила тишина. Неголоса смолкли, но было что-то ещё... Храп! Оборвался нянечкин храп. Лёка упал на кровать и замер.

— Холодно-холодно-холодно! Хлеб-хлеб-хлеб! Да как же можно воровать хлеб?! Это же...

— Иду... — храп вернулся.

Можно одеваться. Кое-как, задом наперёд,

главное — быстро! Где-то в темноте ещё были тапочки... Лёка быстро нашаривает обувь и бежит на цыпочках к выходу. Надо выбраться из спальни, никого не разбудив (Надо-надо-надо!). Если проснётся Славик, да кто угодно, он поднимет шум, и тогда... («Холодно! Хлеб!») они замёрзнут! Надо бежать.

Потихоньку, не глядя на ночную няню (если не смотреть, она и не проснётся), Лёка подбегает к двери спальни, открывает... Не скрипнула. (Холодно!) Выбегает в игровую: темнота. С этой стороны окна выходят на огород, где нет фонарей, и за окнами и в комнате мрак. Не наступить бы на какую игрушку, не нашуметь бы! За игровой — длинный коридор, там кухня, кабинет заведующей, младшие группы, раздевалка и выход. Кухня! Господи, как же это: воровать хлеб?! (Надо-надо-надо!) Интересно: заведующая уходит на ночь домой или так и торчит за столом пучком фиолетовых волос? А повариха? А кто ещё сейчас есть в саду, кроме него, темноты и сводящих с ума неголосов?

— Хлеб-хлеб-хлеб!

В коридоре темень. Лёка бежит на цыпочках, на ощупь, скользя ладонью по стене, подгоняемый какофонией неголосов: «Холодно-холодно-холодно!» — дверь. «Холодно-холодно!» — дверь... Неголоса врезались в голову, не давали думать, ни о чём не давали думать, кроме этого «Холодно-холодно-холодно!» Дверь кухни...

В нос ударяет запах тряпки и сладкого чая.

Лёка входит и замуривается от света фонаря под окном. На кухне большее окно заливают светом блестящий металлический стол, плиту и железные подносы, огромные. На бортах — загадочные буквы, небрежно намалёванные красной краской. Пустые сложены в углу один на другой, один непустой — на столе, накрыт белой тряпкой.

— Хлеб-хлеб-хлеб!

— Я не вор!.. — рука сама лезет под белую тряпку, нащупывает целое богатство: ряды, плотные ряды нарезанного хлеба. Лёка берёт один (мало!), сколько помещается в руку, пытается затолкать в карман шорт — маленький карман, не помещается. Лёка пихает сильнее, на кармане трещит шов, хлеб входит...

— Хлеб! Хлеб-хлеб!

«Мало. Очень мало!» — чужая мысль, невысказанный поступок, Лёка, кажется, плачет, понимая, что утром Артемон его, наверное, убьёт. Мало. Он срывает белую тряпку, хватая штабеля хлебных кусков и заталкивает за пазуху. Хлеб проваливается до резинки шорт («Заправься, Луцев!»), заправился, заправился. Много места, можно ещё... Он хватает хлеб двумя руками, запихивая под рубашку. В свете уличного фонаря за окном видно, как рубашка раздувается от хлебных кусков, Лёка похож на раскрашенного снеговика. Остатки хлеба он вываливает в белую тряпку, которой был прикрыт поднос, завязывает узелок.

— Хлеб-хлеб-хлеб!

Теперь он точно плачет. Опустошённый поднос, много крошек, Лёка вор в раздутой от хлеба рубашке с узелком наворованного.

— Почему так?!

— Надо-надо-надо! Холодно-холодно-холодно!

Лёка вспомнил, как в начале зимы Артемон велела принести пакеты из-под молока, и они всей группой вырезали кормушки для птиц, а потом вешали во дворе. Артемон бродила между деревьями и рассказывала, что зимой птицам надо хорошо питаться, чтобы не замёрзнуть насмерть. Лёка не понял, как они согреваются от еды, — но разве Артемон объяснит? Артемон его убьёт. ...И гулять они уже неделю не ходят. Никто не кладёт в те кормушки вчерашний хлеб и семечки.

Он перекидывает через плечо ворованный узелок, выбегает в тёмный коридор, ещё и слёзы всю видимость размыли. Он бежит дальше, так же щупая стену, чтобы не пропустить нужную дверь раздевалки. Она следующая, она вот...

Лёка толкает дверь — и едва не проваливается в темноту: открыто. Маленькое окошечко под самым потолком пропускает свет фонаря, освещая ряды деревянных шкафчиков и разбросанных валенок. (Холодно-холодно-холодно!) ...Надо одеться. Лёка легко находит свой шкафчик, натягивает тулуп (не застёгивается из-за раздутой рубашки! Только одна пуговица вот...), попадает ногами в чьи-то валенки (некогда читать метки!), варежки, шапка («Холодно-холодно!»). Можно идти дальше. В конце коридора — выход.

Тяжеленная дверь, Лёка нащупывает её сквозь варезку, толкает... («Холодно-холодно-холодно!») Ещё немного — и у него разорвётся голова. От неголосов, от слёз, от того, что он вор и Артемон его убьёт... Дверь заперта. Лёка снимает варезку и ощупывает ледяной железный засов. Его бы сдвинуть — и всё! Он наваливается всем весом на засов, но тот как будто примёрз. В ладони впиивается железный мороз, пальцы уже не слушаются, и снова хочется плакать — уже от бессилия. («Холодно-холодно-холодно!») Кажется, пальцы уже примёрзли к проклятому замку. Лёка толкает изо всех сил, и оглушительный железный грохот разносится по спящему саду. Лёка спотыкается у полуоткрытой двери, в щель тут же врывается ветер и хватает за лицо.

— Вы где?! — Лёка бредёт в темноту, туда, где не достаёт фонарик над крыльцом. — Вы где, ау?

— Здесь-здесь-мы-здесь...

Лёка оглядывается — и никого не видит, кроме угрюмых голых деревьев. В сугробе у самой ноги что-то чернеет. Он нагибается, берёт в руку что-то лёгкое, серое. Маленькие когти цепляются за варезку.

— Замёрз... — Воробей. Ещё живой!

Лёка дышит на птичку в руке, другой рукой достаёт из-под рубашки куски хлеба, чтобы освободить место для воробья, бросает на снег. Кладёт воробья за пазуху, поверх кусков хлеба.

— Сейчас-сейчас... Сейчас ты согреешься...

На брошенный хлеб налетает серая туча. Бесформенная, огромная...

— Холодно-холодно! Холодно! — снег будто накрывает чёрным шевелящимся платком.

— Я сейчас... — Лёка разворачивает хлебный узелок и едва успеваает отскочить — на него налетает новая туча маленьких шумных птичек. Он лезет за хлебом под рубашкой, рвёт пуговицу, она падает в снег, и тут же на неё налетают воробьи. Лека выхватывает куски хлеба, они крошатся в руках, бросает, бросает на снег. Сколько же он его набрал...

— Холодно-холодно-холодно! — По голове, по лицу, по плечам и рукам бьёт что-то лёгкое и царапают маленькие коготки. Вокруг становится ещё темнее: уже не только снег, а и Лёку будто накрыли огромным колючим одеялом.

— Подождите вы! Сейчас! — Пальцы заledenели. Лёка быстрее, быстрее, бросает хлеб перед собой в эту темноту шевелящихся воробьёв...

Что-то царапнуло у самого глаза, Лёка зажмурился и упал на колени, потому что в спину толкнули. Или показалось? За шиворот будто сунули снежок. Лёка охнул, и тут же несколько быстрых снежков влетело за воротник, в рукава, под полы тулупа, под рубашку, где ещё оставался хлеб... Холодно!

— Холодно-холодно-холодно! — кто-то трогал лицо, волосы, забираясь ледяной рукой под шапку, кто-то дёргал-распахивал тулуп и проникал под него ледяной ладонью. И коготки! Маленькие коготки царапали везде, Лёка боялся открыть глаза.

— Да подождите же! Хлеба много!.. — Негнущимися пальцами Лёка шарил под рубашкой,

доставая и бросая новые куски. Рука то и дело натыкалась на холодные перья и коготки под его собственной рубашкой, там был уже не один, а наверное, десяток воробьёв...

— Холодно-холодно-холодно! Хлеб-хлеб-хлеб!

Ноздрю царапнули внутри, рывком, как будто подсекают рыбу. Лёка почувствовал, как полилось тёплое. И тогда он завопил. Самому заложило уши от собственного крика, через секунду кто-то царапнул рот, Лёка его захлопнул, но продолжал мычать от ужаса.

«Воробьи! — твердил он себе, сам не понял, на каком языке. — Это всего лишь маленькие воробьи, они замёрзли, они голодные, им нужно согреться, вот они и лезут за пазуху и под шапку, под рубаху, где ещё остался хлеб...»

Шапка слетела, и холод вцепился в уши — или это тоже были коготки, Лёка уже не мог понять, что и где. Так и стоял на коленях, зажмурившись, чувствуя, как на нём шевелится рубашка, тулуп и, кажется, даже толстые штаны. «В шортах. Ещё есть немного хлеба в шортах, вот они и лезут под ватные штаны, чтобы добраться...» Лека попытался нащупать карман шортов, кажется, хлеб раскрошился и вывалился из рваного кармана. Он выгребал что было, в руку впивалась резинка ватных штанов, перья лупили по лицу и холодили под рубашкой. Коготки царапали всего, вспыхивая тут и там мелкой болью, глыбой навалился мороз, Лёке казалось, что он уже весь в сугробе, с головой покрытый снегом, и эти коготки — это от холода. В голове гудело это бесконечное «Хо-

лодно!». Лёка замер в своей нелепой позе, боясь шевельнуться и открыть глаза.

— Холодно-холодно-холодно!

...Ещё у холода были странные вспышки. Вроде ровный холодок, потом раз — в одном месте будто форточку открыли, и тут же опять чуть теплее. Перья скользили по тулупу и голой коже, воробьи не умолкали и, кажется, одновременно чирикали на своём обычном.

Острый клювик вонзился в голый живот, Лёка взвыл, не разжимая губ, приоткрыл глаз и в щёлочку увидел снег. Кусочек снега. Всё впереди было по-прежнему покрыто шевелящимся чёрным платком, он сам был под этим платком, только чуть поодаль — маленький кусочек белого снега. Кое-где на нём чернели неподвижные тёмные пятна, некоторые с распростёртыми крыльями, уже три или пять, он не успел разглядеть. Одно вылетело у него из рукава, сильно, будто вытолкнули, шмякнулось в снег, да так и осталось лежать... Они что, дерутся? «Воробьи любят подраться, Луцев», — откуда-то в голове всплыл голос Артемона. Лёка знал это и без неё, но в тот момент, стоя на коленях в сугробе, облепленный стаей воробьёв, не мог осознать. Воробьи. Дрались насмерть за хлеб у него под рубашкой, за тёплое место под Лёкиным тулупом. Дрались и не умолкали:

— Холодно-холодно-холодно!

— Тише! Только не деритесь!

Клювик стукнул по виску, кажется, назревала новая драка, Лёка рывком поднялся с колен —

и тут же ухнул обратно, как будто сзади кто-то дёрнул за воротник.

— Вы же поубиваете друг друга! Места всё равно всем не хватит, да я сам уже с вами замёрз!

— Не хватит! Не хватит! Не хватит! — подхватили воробьи, и маленькие коготки с новой силой зацарапали где-то под мышкой.

Лёка ещё раз попробовал встать — и тут же получил клювом в бровь.

Он взвыл, на этот раз открыв рот, и маленькие коготки тут же зацарапались во рту:

— Тепло-тепло-тепло!

Лёка попытался выплюнуть воробья, но тот вцепился когтями. Боль была такая, что голова закружилась и воздуха перестало хватать. «Он меня задушит!» В зажмуренных глазах забегали цветные пятна. Правой ногой стало неожиданно тепло, даже горячо с непривычки, и на душе стало легче, Лёка даже не сразу понял, что случилось.

Воздух! Не хватает воздуха! Стащив варёжку, Лёка полез рукой в рот, нащупал мягкое и потащил, пытаясь мизинцем отцепить когти. Воробей не хотел уходить из тёплого места и держался намертво. Тогда Лёка дёрнул — и завопил от боли. Рот наполнился чем-то кислым с железным привкусом, Лёка уже без всякой жалости отшвырнул воробья и вдохнул полной грудью ледяной воздух. Мороз набросился на ногу в насквозь мокрой штанине. Лёка взвыл и закрыл лицо руками. Он не писал в штаны уже много лет.

Хотелось плакать, и он заплакал. От боли, от унижения, от холода, от того, что ему никогда не спасти всех. Он же хотел как лучше, а они... Да они и его, пожалуй, склюют по кусочку, чтобы добраться до остатков хлеба. Склюют! Легко, их же много! Нетушки!

Лёка рывком вскочил на ноги, выдернул из-под резинки штанов полы рубашки, чтобы вывалился оставшийся хлеб. Воробьи заголосили ещё оглушительнее:

— Куда-куда-куда?

— От вас!

Лёка побежал, не открывая глаз, втапывая хлеб в снег. Он боялся открыть глаза. Казалось, воробьи только этого и ждут, чтобы клюнуть. Они по-прежнему сидели на нём, копошились под тулупом и под рубашкой, Лёка уже почти перестал чувствовать боль от коготков. По макушке ткнул клювик, кажется, кто-то спикировал на него сверху. Шапку потерял. Сунул руки под тулуп, зашарил на ходу, выбрасывая воробьёв:

— Отвяжитесь!

— Холодно-холодно-холодно!

Несколько шагов по сугробам, он споткнулся, упал. Голове стало легче, но лишь на секунду. Только он поднялся на ноги, как опять почувствовал эти коготки: на голове, на руках, на лице!

— Отстаньте!

— Холодно-холодно-холодно!

Лёка смахнул воробьёв с головы и с лица. Коготки больно царапнули лоб. Надо бежать! Чуть

приоткрыл глаза: вот он, корпус детского сада, ещё несколько шагов...

— Холодно-холодно-холодно!

По лицу мазнули перья, Лёка в ужасе закрыл лицо ладонями и побежал. Сугробы мешали, он увязал по колено, а воробьи не отставали: под рубашкой, под тулупом, на голове — они были везде...

Лёка споткнулся о крыльцо корпуса, клюнул ладонями снег и приоткрыл глаза. Он лежал на ступеньках, ещё один шаг...

Дверь дёрнулась и распахнулась, ослепив лучом электрического света. На пороге стоял круглый силуэт, кажется, ночной нянечки. Точно её, потому что из-под прижатых к груди рук выглядывали концы знакомого платка.

— Лёня, что за фокусы?!

Лёка почувствовал, что у него кончается воздух. Это глупо: вон его сколько, а он кончался. Где-то в груди поселился упрямый ком, он толкался и не давал вдохнуть. Воробьи ещё были рядом и, должно быть, так увлеклись, что не заметили ни нянечки, ни света. Лёка не мог ответить. Не отнимая рук от лица, он пытался сделать вдох, твердя себе: «Только не открывать лицо, только не открывать!» Он боялся получить клювом в глаз — и ещё почему-то боялся, что нянечка его узнает, хотя она уже... А воздух всё не шёл, а воробьи всё возились, всё дрались, всё царапались и всё долдонили своё «Холодно-холодно-холодно!».